

Александр Куприн

Свадьба



Александр Иванович Куприн

Свадьба

Свадьба:

Аннотация

«...Вапнярский пехотный армейский полк расквартирован в жалком уездном юго-западном городишке и по окрестным деревням, но один из его четырех батальонов поочередно отправляется с начала осени за шестьдесят верст в отдел, в пограничное еврейское местечко, которого не найти на географической карте, и стоит там всю зиму и весну, вплоть до лагерного времени. Командиры рот ежегодно сменяются вместе со сменой батальонов, но младшие офицеры остаются почти одни и те же. Строгий полковник ссылает туда все, что в полку поплоше: игроков, скандалистов, пьющих, слабых строевиков, замухрышек, лентяев, тех, что вовсе не умеют танцевать, и просто офицеров, отличающихся непредставительной наружностью, «наводящей уныние на фронт», – благо высшее начальство никогда не заглядывает в отдел. Командует же ссыльными батальонами из зимы в зиму уже много лет подряд старый, запойный, бестолковый, но добродушный подполковник Окиш...»

Содержание

I	4
II	10
III	16
IV	21

Александр Куприн

Свадьба

I

Вапнярский пехотный армейский полк расквартирован в жалком уездном юго-западном городишке и по окрестным деревням, но один из его четырех батальонов поочередно отправляется с начала осени за шестьдесят верст в отдел, в пограничное еврейское местечко, которого не найти на географической карте, и стоит там всю зиму и весну, вплоть до лагерного времени. Командиры рот ежегодно сменяются вместе со сменой батальонов, но младшие офицеры остаются почти одни и те же. Строгий полковник ссылает туда все, что в полку поплоше: игроков, скандалистов, пьющих, слабых строевиков, замухрышек, лентяев, тех, что вовсе не умеют танцевать, и просто офицеров, отличающихся непредставительной наружностью, «наводящей уныние на фронт», — благо высшее начальство никогда не заглядывает в отдел. Командует же ссыльными батальонами из зимы в зиму уже много лет подряд старый, запойный, бестолковый, но добродушный подполковник Окиш.

Рождественские каникулы. После долгих метелей установилась прекрасная погода. На улицах пропасть молодого,

свежего, вкусно пахнущего снега, едва взрытого полозьями. Солнечные дни ослепительно яркие и веселы. По ночам сияет полная луна, делая снег розовато-голубым. К полночи слегка морозит, и тогда из края в край местечка слышно, как звонко скрипят шаги ночного сторожа.

Занятий в ротах нет вот уже третий день. Большинство офицеров отпросилось в штаб полка, другие уехали тайком. Там теперь веселье: в офицерском собрании бал и любительский спектакль – ставят «Лес» и «Не спросясь броду, не суйся в воду», – маскарад в гражданском клубе; приехала драматическая труппа, которая ставит вперемежку мелодрамы, малорусские комедии с гопаком, колбасой, горилкой и плясками, а также и легкую оперетку; у семейных офицеров устраиваются поочередно «балки» с катанием на извозчиках, с винтом и ужином. Из всего четвертого батальона остались только три офицера: командир шестнадцатой роты капитан Бутвилович, болезненный поручик Штейн и подпрапорщик Слезкин.

Вечер. Темно. Подпрапорщик сидит на кровати, положив ногу на ногу и сгорбившись. В руках у него гитара, в углу открытого толстого рта висит потухшая и прилипшая к губе папироска. Тоскливая тьма ползет в комнату, но Слезкину лень крикнуть вестового, чтобы тот пришел и зажег лампу. За окном на дворе смутно торчат какие-то черные, отягощенные снегом прутья, и сквозь них слабо рисуются далекие крыши, нахлобучившиеся, точно белые толстые шапки,

над низенькими синими домишками, а еще дальше, за железнодорожным мостом, густо алеет между белым снегом и темным небом тоненькая полоска зари.

Праздники выбили подпрапорщика из привычной наладившейся колеи и отуманили его мозг своей светлой, тихой, задумчивой грустью. Утром он спал до одиннадцати часов, спал насильно, спал до тех пор, пока у него не распухла голова, не осип голос, а веки сделались красными и тяжелыми. Ему даже казалось, что он видел в первый раз в своей жизни какой-то сон, но припомнить его не смог, как ни старался.

После чая он надел праздничные сапоги французского лака и бесцельно гулял по городу, заложив руки в карманы. Зашел для чего-то в отворенный костел и посидел немного на скамейке. Там было пусто, просторно, холодно и гулко. Орган протяжно повторял одни и те же три густые ноты, точно он все собирался и никак не мог окончить финал мелодии. Пять-шесть стариков и десяток старух, все похожие на нищих, уткнувшись в молитвенник, тянули в унисон дребезжащими голосами какой-то бесконечно длинный хорал. «Панна Мария, панна Мария, кру-у-ле-е-ва», – расслышал подпрапорщик слова и про себя внутренне усмехнулся с пренебрежением. Слова чужого языка всегда казались ему такими нелепыми и смешными, точно их произносят так себе, нарочно, для баловства, вроде того, как семилетние дети иногда ломают язык, выдумывая диковинные созвучия: «каляля-маляля-паляля». И обстановка чужого храма – кисейные

занавески на открытом алтаре, дубовая резная кафедра, скамейки, орган, раскрашенные статуи, бритый ксендз, звонки, исповедадьня – все это не возбуждало в нем никакого уважения, и он чувствовал себя так, как будто бы зашел в никому не принадлежащий, большой и холодный каменный сарай. «Молятся, а сидят! – подумал он презрительно. – Сволочь!»

Он презирал все, что не входило в обиход его узкой жизни или чего он не понимал. Он презирал науку, литературу, все искусства и культуру, презирал столичную жизнь, а еще больше за границу, хотя не имел о них никакого представления, презирал бесповоротно всех штатских, презирал прапорщиков запаса с высшим образованием, гвардию и генеральный штаб, чужие религии и народности, хорошее воспитание и даже простую опрятность, глубоко презирал трезвость, вежливость и целомудренность. Он был из семинаристов, но семинарии не окончил, и так как ему не удалось занять псаломщичьей вакансии в большом городе, то он и поступил вольноопределяющимся в полк и, с трудом окончив юнкерское училище, сделался подпрапорщиком. Теперь ему было двадцать шесть лет. Он был высокого роста, лыс, голубоглаз, прыщав и носил длинные светлые прямые усы.

Из костела он зашел к поручику Штейну, поиграл с ним в шашки и выпил водки. У Штейна все лицо было изуродовано давнишней запущенной болезнью. Старые зажившие язвы белели лоснящимися рубцеватыми пятнами, на новых были приклеены черные кружочки из ртутного пластыря; ни-

кого из молодых офицеров не удивляло и не коробило, когда Штейн вслух называл эти украшения мифологическими прозвищами: поцелуй Венеры, удар шпоры Марса, туфелька Дианы и т. д. Прежде, только что выйдя из военного училища, он был очень красив – милой белокурой, розовой, стройной красотой холеного мальчика из хорошего дома. Но и теперь он продолжал считать себя красавцем: длительное, ежедневное разрушение лица было ему так же незаметно, как влюбленным супругам – новые черты постепенной старости друг в друге.

Штейн, поминутно подходя к зеркалу, оправлял заклейки на лице и ожесточенно бранил командира полка, который на днях посоветовал ему или лечиться серьезно, или уходить из полка. Штейн находил это подлостью и несправедливостью со стороны полковника. Весь полк болен этой же самой болезнью. Разве Штейн виноват в том, что она бросилась ему именно в лицо, а не в ноги или не на мозг, как другим? Это свинство! В третичном периоде болезнь вовсе не заразительна – это всякий дурак знает. А службу он несет не хуже любого в полку.

Он долго, все повторяя, говорил об этом. Потом стал жаловаться Слезкин на свою участь: на нищенское подпрапорщичье содержание, на то, что его привлекают к суду за разбитие барабанной перепонки у рядового Греченки, на то, что его вот уже четвертый год маринуют в звании подпрапорщика, и на то, что к нему придирается ротный командир, капи-

тан Бутвилович. При этом оба пили водку и закусывали поджаренным, прозрачным свиным салом.

II

К двум часам подпрапорщик вернулся домой. Вестовой принес ему обед из ротного котла: горшок жирных щей, крепко заправленных лавровым листом и красным перцем, и пшенной каши в деревянной миске. Подавая на стол, вестовой уронил хлеб, и Слезкин дважды ударил его по лицу. Денщик же тарачил на него большие бесцветные глаза и старался не моргать и не мотать головой при ударах.

Из носа у него потекла кровь.

– Пойди умойся, болван! – сердито крикнул на него подпрапорщик.

За обедом Слезкин выпил в одиночку очень много водки и потом, уже совершенно насытившись, все еще продолжал через силу медленно и упорно есть, чтобы хоть этим убить время. После обеда он лег спать с таким ощущением, как будто бы его живот был туго, по самое горло, набит крупным, тяжелым мокрым песком.

Спал он до сумерек. Он и теперь еще чувствует от сна легкий озноб, вместе с тупой, мутной тяжестью во всем теле, и каждую минуту зевает судорожно, с дрожью.

Аристотель, о, о, о, о-ный,
Мудрый философ,
Мудрый философ,

Продад пантало, о, о-ны, –

поет подпрапорщик старинную семинарскую песню и лениво, двумя аккордами вторит себе на гитаре, которую он выпросил на время праздников у батальонного адъютанта, уехавшего в город. Равнодушная, терпеливая скука окутала его душу. Ни одна мысль не пронесется в его голове, и нечем занять ему пустого времени, и некуда идти, и жаль бестолково уходящих праздников, за которыми опять потянется опротивевшая служба, и хочется, чтобы уж поскорее прошло это длительное праздничное томление. Читать Слезкин не любил. Все, что пишут в книгах, – неправда, и никогда ничего подобного не бывает в жизни. Особенно то, что пишут о любви, кажется ему наивной и слащавой ложью, достойной всякого, самого срамного издевательства. Да он и не помнит ровно ничего из того, что он пробовал читать, не помнит ни заглавия, ни сути, разве только смутно вспоминает иногда военные рассказы Лавра Короленки да кое-что из сборника армянских и еврейских анекдотов. В свободное время он охотней перечитывает Строевой устав и Наставление к обучению стрельбе.

Прродал пантало, о, о, оны
За сивухи штоф,
За сивухи што-о-оф.

«Напрасно я завалился после обеда, – думает подпрапор-

щик и зевает. – Лучше бы мне было пройтись по воздуху, а сейчас бы лечь – вот время бы и прошло незаметно. Господи, ночи какие длинные! Хорошо теперь в городе, в собрании. Бильярд... Карты... Светло... Пиво пьют, всегда уж кто-нибудь угостит... Арчаковский анекдоты рассказывает и представляет жидов... Эх! Пойти бы к кому-нибудь? Нанести визит?» – соображает подпрапорщик и опять, глядя в снежное окно, зевает, дрожа головой и плечами. Но пойти не к кому, и он сам это хорошо знает. Во всем местечке только и общества, кроме офицеров, что ксендз, два священника местной церкви, становой пристав и несколько почтовых чиновников. Но ни у кого из них Слезкин не бывает: чиновников он считает гораздо ниже себя, а у пристава он в прошлом году на пасхе сделал скандал. Правда, в третьем году подпрапорщик Ухов уговорил его сделать визиты окрестным попам и помещикам, но сразу же вышло нехорошо. Приехали они в незнакомый дом, засыпанный снегом, и прямо ввалились в гостиную, и тут же стали раскутывать башлыки, натаяв вокруг себя лужи. Потом пошли ко всем по очереди представляться, суя лопаточкой мокрые, синие, холодные руки. Потом сели и долго молчали, а хозяева и другие гости, также молча, разглядывали их с изумлением. Ухов, наконец, крикнул, покосился на пианино и сказал:

– А мы больше туда, где, знаете, фортепиано...

Опять все замолчали и молчали чрезвычайно долго. Вдруг Слезкин, сам не зная зачем, выпалил:

– А я – психопат! – И умолк.

Тогда хозяин дома, породистый поляк высокого роста, с орлиным носом и пушистыми седыми усами, подошел к ним и преувеличенно-любезно спросил:

– Може, панове хотят закусить с дороги?

И он проводил их во флигель к своему управляющему, а тот – крепкий, как бык, узколобый, коренастый мужчина – в полчаса напоил подпрапорщиков до потери сознания и бережно доставил на помещичьих лошадях в местечко.

Да и непереносно тягостно для Слезкина сидеть в многолюдном обществе и молчать в ожидании, пока позовут к закуске. Ему совершенно непостижимо, как это люди целый час говорят, говорят, – и все про разное, и так легко перебегают с мысли на мысль. Слезкин если и говорит когда, то только о себе: о том, как заколодило ему с производством, о том, что он сшил себе новый мундир, о подлом отношении к нему ротного командира, да и этот разговор он ведет только за водкой. Чужой смех ему не смешон, а досаден, и всегда он подозревает, что смеются над ним. Он и сам понимает, что его унылое и презрительное молчание в обществе тяготит и раздражает всех присутствующих, и потому, как дико застенчивый, самолюбивый и, несмотря на внешнюю грубость, внутренне трусливый человек, он не ходит в гости, не делает визитов и знает только с двумя-тремя холостыми, пьющими офицерами:

Цезарь, сын отва, а, а, аги,
И Помпей герой,
И Помпей герой,
Продавали шпаа, а, аги
Тою же ценой,
Тою же цено-о-ой.

В сенях хлопает дверь и что-то грохочет, падая. Входит денщик с лампой. Он воротит голову от света и жмурится.

– Это ты там что уронил? – сердито спрашивает Слезкин.

Денщик испуганно вытягивается.

– Так что тибаретка упала.

– А что еще надо прибавить? – грозно напоминает подпрапорщик.

– Виноват, ваше благородие... Тибаретка упала, ваше благородие.

Лицо денщика выражает животный страх и напряженную готовность к побоям. От удара за обедом и кровотечения нос у него посинел и распух. Слезкин смотрит на денщика с холодной ненавистью.

– Тибаретка! – хрипло передразнивает он его. – Ссволочь! Неси самовар, протоплазма.

От тоски ему хочется ударить денщика сзади, по затылку, но лень вставать. И он без всякого удовольствия тянет все тот же, давно надоевший мотив:

Папа Пий девя, я, ятый

И десятый Лев,
И десятый Лев...

Денщик приносит самовар. Подпрапорщик пьет чай вприкуску до тех пор, пока в чайнике не остается лишь светлая теплая водица. Тогда он запирает сахар и осьмушку чая в шкатулку на ключ и говорит денщику:

– Тут еще осталось. Можешь допить.

Денщик молчит.

– Ты! Хам! – рывкает на него Слезкин. – Что надо сказать?

– Покорно благодарю, ваше благородие! – торопливо лепечет солдат, помогая подпрапорщику надеть шинель.

– Забыл? Ссвинья! Я т-тебя выучу. Подыми перчатку, холуй!

По его званию, его надо бы величать всего только «господин подпрапорщик», но он раз и навсегда приказал вестовому называть себя «ваше благородие». В этом самовозвеличении есть для Слезкина какая-то тайная прелесть.

III

Он выходит на улицу. Круглая зеркальная луна стоит над местечком. Из-за темных плетней лают собаки. Где-то далеко на дороге звенят бубенчики. Видно, как на железнодорожном мосту ходит часовой.

«Что бы такое сделать?» – думает Слезкин. Ему вспоминается, как три года тому назад пьяный поручик Тиктин добрался вброд до полосатого пограничного столба, на котором с одной стороны написано «Россия», а на другой «Oesterreich»¹, зачеркнул мелом, несмотря на протесты часового, немецкую надпись и надписал сверху: «Россия». «Да, вот это было, что называется, здорово пущена пуля! – улыбается с удовольствием Слезкин. – Взял и одним почерком пера завоевал целое государство. Двадцать суток за это просидел на гауптвахте в Киеве. Молодчага. Сам начальник дивизии хохотал. А то бы еще хорошо взять прийти в роту и командовать: „В ружье! Братцы, вашего подпрапорщика обидели жида. Те жида, которые распяли Христа и причащаются на пасху кровью христианских мальчиков. Неужели вы, русские солдаты, потерпите подобное надругательство над честью офицерского мундира? За мной! Не оставим камня на камне от проклятого жидовского кагала!“

¹ Австрия (нем.).

– Эх! – глубоко и жалостливо вздыхает Слезкин. – Или вот, если бы бунт какой-нибудь случился... усмирение...

Он поворачивает на главную улицу. Густая черная толпа с веселыми криками и смехом валит ему навстречу. «Ишь чертова жидова!» – думает с ненавистью подпрапорщик. Слышатся звуки нестройной музыки и глухие удары бубна. Что-то вроде балдахина на четырех палках колышется над толпой, постепенно приближаясь. Впереди, стесненные людьми, идут музыканты. Кларнетист так смешно засунул себе в рот пищик, точно он его насасывает, щеки его толстого лица надуваются и опадают, голова неподвижна, но глаза с достоинством вращаются налево и направо. Долговязый скрипач, изогнув набок свою худую, обмотанную шарфом шею, прижался подбородком к скрипке и на ходу широко взмахивает смычком. Тот же, который играет на бубне, высоко поднял кверху свой инструмент и приплясывает, и вертится, и делает смеющимся зрителям забавные гримасы.

Подпрапорщик останавливается. Мимо него быстро пробегают, освещаемые на секунду светом фонаря, женщины, мужчины, дети, старики и старухи. Молодые женщины все до одной красивые и все смеются, и часто, проносясь мгновенно мимо Слезкина, прекрасное лицо, с блестящими глазами, поворачивается к нему ласково и весело, точно эта милая женская улыбка предназначена именно ему, Слезкину.

– А-а! И вы, пане, пришли посмотреть на свадьбу? – слышит подпрапорщик знакомый голос.

Это Дризнер, подрядчик, поставляющий для батальона мясо и дрова, маленький, толстенький, подслеповатый, но очень зоркий и живой старикашка. Он выбирается из толпы, подходит к Слезкину и здоровается с ним. Но подпрапорщик делает вид, что не замечает протянутой руки Дризнера. Для человека, который не сегодня-завтра может стать обер-офицером, унизительно подавать руку еврею.

– Ну, не правда ли, какой веселый шлюб? – говорит несколько смущенно, но все-таки восторженно подрядчик. – Шлюб, это по-нашему называется свадьба. Молодой Фридман – знаете галантерейный и посудный магазин? – так он берет за себя вторую дочку Эпштейна. Шестьсот рублей приданого! Накажи меня бог, шестьсот рублей наличными!

Подпрапорщик презрительно кривит губы. Шестьсот рублей! В полку офицеру нельзя до двадцати восьми лет жениться иначе, как внеся реверс в пять тысяч. А если он, Слезкин, захочет, он и все десять тысяч возьмет, когда будет подпоручиком. Офицеру всякая на шею бросится.

Свадебное шествие переходит через площадь и суживается кольцом около какого-то дома, ярко и подвижно чернея на голубом снеге. Слезкин с подрядчиком машинально идут туда же, пропустив далеко вперед всех провожатых.

– А может, пану любопытно поглядеть на самый шлюб? – заискивающе спрашивает Дризнер, заглядывая сбоку и снизу в лицо подпрапорщика.

Гордость борется в душе Слезкина со скукой. И он спра-

шивает неуверенно:

– А это... можно?

– Ох, да сколько загодно. Вы прямо доставите им удовольствие. Пойдемте, я вас проведу.

– Неловко... незнаком... – мямлит Слезкин.

– Пожалуйста, пожалуйста. Без всяких церемониев. Эпштейн – так он даже швагер² моему брату. Прошу вас, идите только за мной. Пойдите трошки вот тутечки. Я только пройду на минуточку в дом и зараз вернусь.

Через небольшое время он выбирается из толпы в сопровождении отца невесты – полного, румяного, седобородого старика, который приветливо кланяется и дружески улыбается Слезкину.

– Пожалуйста, господин офицер. Очень, очень приятно. Вы не поверите, какая это для нас честь. Когда у нас такое событие, мы рады всякому порядочному гостю. Позвольте, я пройду вперед.

Он боком буравит толпу, крича что-то по-еврейски на публику и не переставая время от времени издали улыбаться и делать пригласительные жесты Слезкину.

Дризнер, очень довольный тем, что он входит на свадьбу с такой видной особой, как подпрапорщик, почти офицер, тянет Слезкина за рукав и шепчет ему на ухо:

– А у пана есть деньги?

Слезкин морщится.

² Шурин (от нем. Schwager).

– Разве тут надо платить за вход?

– Ой, пане, – какой же за вход! Но вы знаете... Там вам вина поднесут на подносе... потом музыкантам... и там еще что... Позвольте вам предложить три рубля? Мы потом рассчитаемся. Я нарочно даю вам мелкими. Ну, что поделаешь, если уж такой у нас глупый обычай. Проходите вперед, пане.

IV

Свадебный бал происходил в большом пустом сарае, разделенном перегородкой на две половины. Раньше здесь помещался склад яиц, отправляемых за границу.

Вдоль стен, вымазанных синей известкой, стояли скамейки, в передней комнате несколько стульев и стол для музыкантов, в задней десяток столов, составленных в длинный ряд для ужина, – вот и вся обстановка. Земляной пол был плотно утрамбован. По стенам горели лампы. Было очень светло и тепло, и черные стекла окон покрылись испариной.

Дризнер подбежал к музыкантам и что-то шепнул им. Дирижер с флейтой в руках встал, шлепнул ладонью по столу и крикнул: «Ша!» Музыканты изготвились, кося на него глазами. «Ейн, цвей, дрей!» – скомандовал дирижер. И вот, приложив флейту ко рту, он одновременно взмахнул и головой и флейтой. Музыка грянула какую-то первобытную польку.

Но, проиграв восемь тактов, музыканты вдруг опустили свои инструменты, и все хором запели тот же мотив в унисон, козлиными фальшивыми голосами, как умеют петь одни только музыканты:

Па-н Слезкин, добрый пан,
Добрый пан, добрый пан,
Музыкантам гроши дал,

Гроши дал, гроши дал...

– Ну, вы им дайте что-нибудь, пане, – шепнул Дризнер, хитро и просительно прищуривая глаз.

– Сколько же? – спросил угрюмо Слезкин.

– Пятьдесят... ну, тридцать копеек... Сколько уж сами захотите.

Подпрапорщик великодушно швырнул на стол три серебряные монеты по гривеннику.

Уже много было народу в обеих комнатах, но все прибывали новые гости. Почетных и богатых людей встречали тем же путем, что и Слезкина. Между прочим, пришел шапочно знакомый Слезкину почтовый чиновник Миткевич, постоянный посетитель всех свадеб, «балков» и «складковых» вечеринок в окрестностях, отчаянный танцор и ухаживатель, светский молодой человек. Он был в рыжей барашковой папахе набекрень, в николаевской шинели с капюшоном и с собачьим воротником, с дымчатым пенсне на носу. Выслушав хвалебный туш, он вручил дирижеру рубль и тотчас же подошел к подпрапорщику.

– Как единственно здесь с вами интеллигентные люди, позвольте представиться: местный почтово-телеграфный чиновник Иван Максимович Миткевич.

Слезкин великодушно подал ему руку.

– Мы уж вместе и сядем за ужином, – продолжал Миткевич.

– А-а! А разве будет и ужин?

– Ох, и что вы говорите? – запаясничал чиновник. – И еще какой ужин. Фаршированная рыба, фиш по-жидовски, жареный гусь и со смальцем. О-ох, это что-нибудь ошобенного!..

Музыка начала играть танцы. В распределении их не было никакого порядка. Каждый, по желанию, подходил к музыкантам и заказывал что-нибудь, причем за легкий танец платил двадцать копеек, а за кадрили тридцать и любезно приглашал танцевать своих приятелей. Иногда же несколько человек заказывали танец в складчину.

– Посмотрите, пане, – сказал Дризнер, – вот там в углу сидит невеста. Подойдите и скажите ей: «Мазельтоф».

– Как?

– Ма-зель-тоф. Вы только подите и скажите.

– Это зачем?

– Да вы уж поверьте мне. Это самое приятное поздравление у нас, у евреев. Скажите только – мазельтоф. Увидите, как ей будет приятно.

Придерживая левой рукой шашку, подпрапорщик пробрался между танцующими к невесте. Она была очень мила в своем платье, розовая блондинка с золотистыми рыжеватыми волосами, со светлым пушком около ушей и на щеках, с тонкой краснинкой вдоль темных бровей.

– Мазельтоф, – басом сказал подпрапорщик, шаркая ногой.

– Мазельтоф, мазельтоф, – одобрительно, с улыбками и с

дружелюбным изумлением зашептали вокруг.

Она встала, вся покраснела, расцвела улыбкой и, потупив счастливые глаза, ответила:

– Мазельтоф.

Через несколько минут она разыскала подпрапорщика в толпе и подошла к нему с подносом, на котором стояла серебряная чарка с виноградной водкой и блюдечко со сладкими печеньями.

– Прошу вас, – сказала она ласково.

Слезкин выпил и крякнул. Водка была необыкновенно крепка и ароматична.

– Положите что-нибудь на поднос, – шептал сзади Дризнер. – Это уж такой обычай.

Подпрапорщик положил двугривенный.

– Благодарю вас, – сказала тихо невеста и взглянула на него сияющими глазами.

«Черт знает какое свинство, – думал подпрапорщик презрительно. – Сами приглашают и сами заставляют платить». Он заранее знал, что не отдаст Дризнеру его трех рублей, но ему все-таки было жалко денег.

Было уже около одиннадцати часов вечера. В другой комнате, предназначенной для ужина, тоже начали танцевать, но исключительно старики и старухи. Те трое музыкантов, что шли впереди свадебной процессии, кларнет, скрипка и бубен, играли маюфес – старинный свадебный еврейский танец. Почтенные толстые хозяйки в белых и желтых шел-

ковых платках, гладко повязанных на голове, но оставляющих открытыми оттопыренные уши, и сердобольные солидные коммерсанты образовали кружок и подпевали задорному, лукавому мотиву, хлопая в такт в ладоши. Двое пожилых мужчин танцевали в середине круга. Держа руки у подмышек с вывернутыми наружу ладонями и сложенными бубликом указательными и большими пальцами, выпятив вперед кругленькие животы, они осторожно, с жеманной и комической важностью ходили по кругу и наступали друг на друга и, точно в недоумении, пятились назад. Их преувеличенные ужимки и манерные ухватки напоминали отдаленно движение кошки, идущей по льду. Молодежь, столпившаяся сзади, смеялась от всей души, но без малейшей тени издевательства. «Черт знает, что за безобразие!» – подумал подпрапорщик.

В полночь накрыли на стол. Подавали, как и предсказывал Миткевич, фаршированную щуку и жареного гуся – жирного, румяного, со сладким изюмным и черносливным соусом. Подпрапорщик перед каждым куском пищи глотал без счета крепкую фруктовую водку и к концу ужина совершенно опьянел. Он бессмысленно водил мутными, мокрыми, упорно-злыми глазами и рыгал. Какой-то худенький, седенький старичок с ласковыми темными глазами табачного цвета, любитель пофилософствовать, говорил ему, наклоняясь через стол:

– Вы же, как человек образованный, сами понимаете: бог

один для всех людей. Зачем людям ссориться, если бог один? Бывают разные веры, но бог один.

– У вас бог Макарка, – сказал вдруг Слезкин с мрачною серьезностью.

Старичок захихикал угодливо и напряженно, не зная, как выйти из неловкого положения, и делая вид, что он не понял пьяных слов Слезкина.

– Хе-хе-хе... И Библия у нас одинакова... Моисей, Авраам, царь Давид... Как у вас, так и у нас.

– Убирайся в... А Христа зачем вы распяли?! – крикнул подпрапорщик, и старик умолк, испуганно моргая веками.

Слепое бешенство накалило в мозгу Слезкина. Его бессознательно раздражало это чуждое для него, дружное, согласное веселье, то почти детское веселье, которому умеют предаваться только евреи на своих праздниках... Каким-то завистливым, враждебным инстинктом он чуял вокруг себя многовековую, освященную обычаем и религией спайку, ненавистную его расхлябанной, изломанной, мелочной натуре попа-неудачника. Сердила его недоступная, непонятная ему, яркая красота еврейских женщин и независимая, на этот раз, манера мужчин держать себя – тех мужчин, которых он привык видеть на улицах, на базарах и в лавках приниженными и заискивающими. И, по мере того как он пьянел, ноздри его раздувались, стискивались крепко зубы и сжимались кулаки.

После ужина столы очистили от посуды и остатков куша-

ня. Какой-то человек вскочил с ногами на стол и что-то затынул нараспев по-еврейски. Когда он кончил, – седобородый, раскрасневшийся от ужина, красивый старик Эпштейн поставил на стол серебряную вазу и серебряный праздничный шандал о семи свечах. Кругом аплодировали. Глашатай опять запел что-то. На этот раз отец жениха выставил несколько серебряных предметов и положил на стол пачку кредитных билетов. И так постепенно делали все приглашенные на свадьбу, начиная с самых почетных гостей и ближайших родственников. Таким образом собиралось приданое молодым, а какой-то юркий молодой юноша, сидевший у края стола, записывал дары в записную книжку.

Слезкин протиснулся вперед, тронул пишущего за плечи и хрипло спросил, указывая на стол:

– Это что еще за свинство?

Он с трудом держался на ногах, перекачиваясь с носков на каблуки, и то выпячивал живот, то вдруг резко ломался вперед всем туловищем. Веки его отяжелели и полужакрывали мутные, напряженные глаза.

Кругом замолчали на минуту, все с тревогой обернулись на Слезкина, и это неловкое молчание неожиданно взорвало его. Красный, горячий туман хлынул ему в голову и заволок все предметы перед глазами.

– Лавочку открыли? А? Жида! А зачем вы распяли Иисуса Христа? Подождите, сволочи, дайте срок, мы еще вам покажем кузькину мать. Мы вам покажем, как есть мацу с хри-

стианской кровью. Пауки подлые! Всю кровь из России высосали. Пр-родали Россию.

– Однако вы не смейте так выражаться! – крикнул сзади чей-то неуверенный молодой голос.

– Пришли в чужой дом и безобразничаете. Хорош офицер! – поддержал другой.

– Господин Слезкин... Я вас убедительно прошу... Я вас прошу, – тянул его за рукав почтовый чиновник. – Да бросьте, плюньте, не стоит тратить здоровье.

– Пшел прочь... суслик! – заорал на него Слезкин. – Морду расшибу!

Он грозно ударил кулаком наотмашь, но Миткевич вовремя отскочил, и подпрапорщик, чуть не повалившись, сделал несколько нелепых шагов вбок.

– Разговаривать? – кричал он яростно. – Разговаривать? Хриstopродавцы! Сейчас вызову из казармы полуроту и всех вас вдребезги. Расшибу-у! – завыл он вдруг диким, рвущимся голосом и, выхватив из ножен шашку, ударил ею по столу.

Женщины завизжали и бросились в другую комнату.

Но на руке у Слезкина быстро повис, лепеча умоляющие, униженные слова, полковой подрядчик Дризнер, а сзади в это время обхватил его вокруг спины и плеч местный извозчик Иоська Шапиро, человек необычайной физической силы. Подпрапорщик барахтался в их руках, разрывая на себе мундир и рубашку. Кто-то отнял у него из рук шашку и переломил ее о колено. Другой сорвал с него погоны.

Больше он ничего не помнил: ни того, как явился на свадебный бал разбуженный кем-то капитан Бутвилович с двумя солдатами, ни того, как его перенесли домой бесчувственного, ни того, конечно, как его денщик, раздев своего подпрапорщика, с искаженным от давнишней злобы лицом, пристально глядел на Слезкина и несколько раз с наслаждением замахивался кулаком, но ударить не решался.

На другой же день, разруганный своим ротным командиром (кстати, тоже испугавшимся ответственности), Слезкин бегал к Эпштейну, и к Фридману, и к Дризнеру, и к почтовому чиновнику Миткевичу, умоляя их молчать обо всем происшедшем. Ему пришлось много унижаться, пока он не получил символов чести мундира – пары погон и сломанной шашки.

Потом целый день до ночи он не выходил из дому, боясь глядеть даже в глаза своему денщику. А поздно ночью, подавленный вчерашним похмельем, страхом и унижением, он молился на образок Черниговской Божьей матери, висевший у него в изголовье кровати на розовой ленте, крепко прижимал сложенные пальцы ко лбу, к животу и к плечам, умиленно сотрясал склоненной набок головой и плакал.